

Книги о лошадях

Часть 2

Петр Ширяев
Внук Тальони

Часть первая

1

Наездник Олимп Лутошкин сидел у себя в столовой перед недопитым стаканом чаю, и у него было такое выражение лица, какое бывает у людей, потерявших последние деньги, когда за первым моментом испуга и отчаяния и часто нелепых попыток найти потерянное наступает безнадежное и злобно-сосредоточенное успокоение...

На столе лежали счета от шорника, ветеринарного врача, от кузнеца, беговая размеченная программа этого воскресенья, а пальцы правой руки, вытянутой по столу, мяти записку от очаровательной Сафир, в которой она смешно напоминала, что «завтра вечером я именинница».

Эту записку принес вчера Филипп, старший конюх, и, передавая ее, напомнил:

— Кузнеца опять встретил, лается и судом грозит.

Откинувшись на спинку стула, Лутошкин щурил глаза, и от этого сухое, красивое лицо его казалось злым и острым. Он уже не думал, где бы достать денег. Эти думы, не дававшие спать ночь, к утру осели безнадежной гущей; лишь изредка из этой гущи ядовитым пузырьком булькало воспоминание о деньгах, собранных им среди товарищей для больного наездника Гришина, и тогда Лутошкин скашивал глаза на лежавшую перед ним беговую размеченную программу и смотрел на нее так, как смотрит послушный охотничий пес на кусок мяса, который хозяин запретил ему трогать...

Шестьсот семьдесят рублей, собранные для Гришина, лежали в ночном столике, в спальне, а сегодняшние бега при крупной ставке в тотализатор обещали хороший выигрыш...

«Если зарядить во втором заезде на Голубку все шестьсот семьдесят... Кобыла не имеет права проиграть!.. — Лутошкин зажмурился. — А если?..»

Левая бровь болезненно поползла вверх; Лутошкин встал, подошел к большому зеркалу и долго смотрел на искривленное усмешкой лицо.

— ...тогда под-лец! — отдельно выговорил он вслух и повторил еще раз это слово так, будто

писал его крупными, жирными буквами — Пп-о-дд-л-е-ц.

«Хотя почему в сущности подлец? — неожиданно вынырнула откуда-то юркая мысль. — Проиграю — подлец, а выиграю — умница и честный? Чушь! Это же чушь, чушь! И потом, по существу, — все подлецы! Кто не подличает? Не платить два месяца жалованья конюхам разве не подлость? В конце концов все эти понятия о подлости и честности относительны...»

Мысли Лутошкина неодолимо устремились по пути переоценки всех ценностей. Он даже начал припоминать читанных на школьной скамье Шопенгауэров, Гартманов, Ницшей...

Был шестой час утра. В передней скрипнула дверь. Старший конюх Филипп с немытым опухшим лицом и закисшими глазами вошел в столовую.

— Кобылу-то собирать? — спросил он и, икнув, отвернулся, по-собачьи виновато, от Лутошкина.

Заострившимся взглядом Лутошкин впился в его лицо и с тихой угрозой застучал по столу пальцами:

— Если ты... еще раз заявишься на конюшню пьяный — выгоню к чертовой матери! Понял?

Округлое свекольное лицо Филиппа приняло плаксивое выражение. Он съежился, словно ему вдруг стала холодно, и хрипло заговорил:

— Что вы, Алим Иваныч?!. Одной росинки во рту не было!.. Будь я проклят, ежели...

— Сукин ты сын, вот что! — встал Лутошкин и, сунув в карман кителя секундомер, вышел во двор.

— Корм проела кобыла?

Филипп пренебрежительно сплюнул.

— Ко-орм?!. Она кормушку могёт слопать, не то что корм! Заморенная, дьявол! На мое рассуждение, Алим Иваныч, толков из нее никаких не должно выйтить: и скучновата, и ребра мало, и...

— Помолчи, без тебя разберемся! — оборвал его Лутошкин.

Не отвечая на поклон двух конюхов, чистивших сбрую, он прошел в конец конюшни, к крайнему деннику.

Уткнув понурую голову в угол, серая кобыла даже не оглянулась на вошедших в денник наездника и конюха. Она казалась еще худее и унылее, чем вчера, когда ее привели. У Лутошкина неприятно засосало на сердце.

«Пожалуй, прав Филька, — ни рожи, ни кожи...»

— Собирай! — хмуро приказал он, выйдя из денника.

Филипп и оба конюха начали готовить серую Лесть к запряжке. Лутошкин стоял тут же и изредка бросал приказания:

— Спусти бинт!

— Ногавки¹ давай!

— Чек!²

По мере того как кобылу, словно невесту к венцу, облачали в беговой наряд, ее понурость исчезала; она заметно оживлялась, и в кротких, влажных глазах зажигались огни. Уши, вздрагивая как стрелки компаса, настораживались, нервные и чуткие к каждому звуку и к каждому движению конюхов. По тонким и сухим передним ногам пробегала чуть заметная дрожь. Из-за решетчатых дверей денников³ другие лошади смотрели с пугливой внимательностью на свою подругу, и некоторые из них били копытом в деревянный пол.

Лутошкину понравилось, что кобыла спокойна и в то же время чутка той чуткостью,

¹ Ногавки — кожаные предохранители, которые надеваются лошади на пясть или плюсну для предохранения от ушибов во время движения.

² Чек — специальный ремень, помогающий лошади при быстрой езде, держать голову поднятой, вследствие чего она идет более устойчивой рысью.

³ Денник — отдельное помещение для лошадей в конюшне, где лошадь не привязывается и может свободно передвигаться.

которая сразу говорит наезднику об отдатливости лошади в работе и указывает, что у нее «много сердца». Как всякий наездник, он терпеть не мог лошадей тупых, «без сердца», хотя бы и очень резвых. Езда на таких лошадях вызывала в нем чувство, похожее на то, что человек с огромным аппетитом вынужден удовлетворять голод неприятным и невкусным блюдом...

Наблюдая за Лестью, Лутошкин вспомнил слова больного Гришина, по рекомендации которого владелец поставил в его конюшню эту лошадь:

«Кобыла старшего класса! Держись обеими руками за нее...»

Спустя полчаса он въезжал на беговой круг. Огромное пространство ипподрома, похожее на овальное блюдо, было ярко озарено утренним солнцем. Усыпанная желтым песком беговая дорожка красиво оттенялась сочной зеленью газонов и цветников по середине круга. Взад и вперед проносились американки: ⁴ шла обычная работа лошадей. Лутошкин подобрал опущенные ноги и стал укорачивать вожжи. Лесть заиграла

⁴ Американка — специальный двухколесный экипаж (качалка) на тонких дутых шинах. Впервые был привезен в Россию американскими наездниками.

сторожкими ушами и, словно балерина, начинала перебирать ногами, когда навстречу или перегоняя проносилась американка. Лутошкин оглаживал ее голосом и успокаивал. Наездник Сеницын, на вороном машистом⁵ жеребце, догнал Лутошкина и, скользнув взглядом по худой и лохматой Лести, насмешливо крикнул:

— С бойни?

Лутошкин промолчал. Лишь вожжи чуть дрогнули в руках, будто хотел он ударить кобылу...

Сеницын никогда не пропускал случая посмеяться над Лутошкиным. Малограмотный, бывший лихач-извозчик, он не мог простить наезднику Лутошкину его интеллигентности, не мог примириться с тем, что Лутошкин когда-то учился в высшем учебном заведении и один из всех наездников посещал театры и концерты. «Ба-арин!» — часто язвил Сеницын, намекая на его происхождение, и этим словом бередил самое болезненное место в самолюбии Олимпа Лутошкина. Лутошкин был незаконным сыном дворянина-помещика Варягина, владельца захудалого конного завода в Рязанской губернии. Чудак Варягин питал непонятную страсть к античному миру, и в его конюшне все жеребцы

⁵ Машистый жеребец — лошадь с размашистым ходом.

носили громкие имена богов, а кобылы — богинь: Юпитер, Посейдон, Зевс вороной, Астарта, Венера серая, Венера караковая и так далее. Прижив с вдовой своего бывшего кучера Ивана Лутошкина, скотницей Марфой, сына, Варягин, окрестил и его Олимпом и взял к себе в дом на воспитание. Вся нелепость последующей жизни Лутошкина, рожденного на скотном дворе от барина и скотницы, была как бы заранее предугадана и зафиксирована в этом сочетании чисто мужичьей фамилии и громкого имени, взятого из учебника истории древней Греции. Чудак Варягин скончался без предупреждения на конюшне в тот самый год, когда Олимп, окончив реальное, поступил в Горный институт и ревностно занялся восстановлением запущенного конного завода, но вскоре с позором был изгнан из имения законными наследниками, появившимися неведомо откуда в образе двух престарелых дев. Страсть к лошадям определила дальнейшую судьбу Олимпа Лутошкина: из студента Горного института он превратился в наездника...

Согрев кобылу маховой ездой на полный круг, Лутошкин вынул секундомер и, заложив его в ладонь левой руки, принял кобылу на вожжи. Лесть словно ждала этого: сразу подобралась, нетерпеливо мотнула головой, прося свободы, и, переменив ногу, вытянулась в неодолимом

устремлении вперед. Все еще боясь разочарований, Лутошкин невольно сдерживал ее и напряженно присматривался к движениям, но, видя, как свободно выносит она перед, отмечая мощный отхлест задних ног, он незаметно для себя отдавался растущему в нем восторгу и, забывая все сомнения, все заботы и все, что оставалось позади, сливался в одно с лошадью и неуловимым для постороннего глаза движением рук постепенно давал кобыле волю, чувствуя в ней огромный запас резвости. Сделав четверть круга, повернул назад, к старту, и у столба, щелкнув секундомером, выпустил кобылу. Лесть приняла первую четверть круга в такую страшную резвость, почти невероятную для неработанной лошади, что Лутошкин не поверил секундомеру и лишь на прямой у полукруга, снова взглянув на секундомер, убедился, что ошибки нет... Гришин сказал правду: серая кобыла была старшего класса.

Ноги, упиравшиеся в американку, задрожали и, скользнув, повисли вниз, сразу утратив упругость и силу; на лбу выступил обильный пот. Лутошкин слышал, как колотится у него сердце. К горлу подкатывался комок. Он сдержал кобылу, переводя ее на легкий тротт.⁶ Почти сейчас же вырос рядом

⁶ Тротт — тихая рысь. (Прим. авт.)

с ним вороной, блестящий порядком жеребец Сеницына. Некоторое время Сеницын ехал рядом, ухо в ухо, внимательно присматриваясь к кобыле, потом спросил:

— Откуда кобыла-то?

— С бойни! — срывающимся голосом ответил Лутошкин и съехал с круга.

Филипп и оба конюха встретили его у ворот двора. Обычно Лутошкин, въехав во двор, тут же, у ворот, слезал с американки и передавал лошадь конюхам. Но на этот раз он подъехал к самой конюшне. Филипп, не знавший результатов поездки, мгновенно понял, в чем дело, и, хотя и сгорал от любопытства узнать, как едет кобыла, ничего не спросил и, отстраняя конюхов, сам начал распрягать ее.

Освобожденная от бегового наряда, Лесть опять приняла свой понурый вид, как до езды, в деннике. Специальным деревянным ножом Филипп быстро и ловко соскоблил с нее пот, вытер соломой и набросил попону. Конюхи тем временем разбинтовывали ноги. Когда Филипп передал конюху повод для проводки, Лутошкин остановил конюха:

— Подожди!..

— Растиранье? — догадался сразу и не дал договорить ему Филипп и зарычал на конюха —

Какого же черта ушами хлопаешь? Давай флюид!⁷

Закатав рукава выше локтя, он с необычным усердием начал растирать суставы и сухожилия покорно стоявшей Лести составом из свинцового сахара, настойки опия и воды. Лутошкин ходил вокруг лошади и указывал;

— Забирай повыше! Вот так! Сильней три, пониже, хорошо...

— Бинты-ы! — начал командовать Филипп конюхам, кончив растиранье. — Да смотри, у меня по сторонам не зевать, поведешь на проводку. Знаю я вас, чертей!.. Здесь, по двору, проваживай, на улицу не выводил..

— Слушаюсь, Филипп Акимыч!

— Повод-то возьми покороче, распустил, как слюни...

Конюх вывел кобылу, Филипп из ведра сполоснул руки, вытер их о штаны и взглянул на Лутошкина.

В его заплывших от постоянного пьянства глазах был теперь один вопрос: «Как едет кобыла?» Вопрос невысказанный, сидевший гвоздем в мозгу с того момента, когда Лутошкин въехал после

⁷ Флюид — лекарственная смесь, применяется для растирания лошадей в целях усиления кровообращения или как охлаждающее средство.

проездки во двор и не сдал конюхам лошадь, а сам подъехал на ней к конюшне. Этот вопрос имел для конюха такое же огромное значение, как и для наездника. В глубине души Филипп рассматривал старшего конюха даже выше наездника.

— Лошадь бежит от порядка, в каком она есть, а порядок от конюха! — говаривал он частенько и свое постоянное пьянство объяснял отсутствием высокого класса в конюшне Лутошкина.

— Очутись, к примеру, в деннике у меня Крепыш... Да будь я проклят, ежели одна росинка капнет мне в рот!..

Круглое лицо Филиппа отображало такое мучительное любопытство, его рот был так выразительно раскрыт, и так уморительно вздрагивала на кончике ноздреватого носа крупная капля пота, что Лутошкин невольно рассмеялся, но все-таки ничего не сказал и, играя хлыстом, вышел из конюшни. Молча Филипп пошел за ним, в пятку, как пес. У дверей дома Лутошкин, не смотря на Филиппа, уронил куда-то в сторону:

— Кобыла сейчас должна приехать без сорок...⁸

⁸ Кобыла сейчас должна приехать без сорок... — Это выражение означает, что лошадь проходит дистанцию 1600 метров на 40 секунд быстрее тех 3-х минут, которые

Филипп снял картуз с надорванным козырьком и перекрестился.

2

Войдя в столовую, Лутошкин бросил на стол картуз и хлыст и взволнованно зашагал из угла в угол.

Глубоко запрятанная, всегда жила в нем надежда на какую-то удачу, которая должна, наконец, разрубить не только гордиев узел из векселей, расписок и неоплаченных счетов, но и выдвинуть его в первый ряд классных наездников. Присутствуя в большие беговые дни на ипподроме при триумфах других наездников, он испытывал мучительное чувство бессилия и злобы. Его конюшня в ряду других была лохмотьями нищего, случайным сбродом посредственных лошадей, принадлежавших мелким охотникам. Дай ее в руки самого Вильяма Кэйтона — и его громкая слава погасла бы, как лампа без керосина. В такие минуты ему хотелось крикнуть рукоплещущей тысячной толпе зрителей, к

установлены как контрольные (минимальные) для прохождения этого расстояния. Такой своеобразный счет времени сохранился у наездников до сих пор.

триумфатору-наезднику, и миллионеру-владельцу какую-то оскорбительную правду, правду голодного — сытым, нищего — богатым; ту правду, которую впервые познал он в тот памятный день, когда ему сказали, что у него нет ни отца, ни имени и никакого права на жизнь.

— Твоя мать, голубчик, скотница!.. Какой же ты студент и наследник? Иди на конюшню!

Как часто потом, сталкиваясь с владельцами-коннозаводчиками, он припоминал этот день, припоминал два ехидно-ласковых старушечьих личика, обрамленных кружевными чепцами, запах одеколona и валерьяновых капель и пухлую маленькую ручку, протягивавшую ему пятидесятирублевую бумажку.

— Вот тебе, голубчик, на расходы, поезжай отсюда с богом...

И это припоминание жгло, мутило мысль; и богач-коннозаводчик не понимал, почему это наездник Лутошкин вдруг в середине делового разговора круто обрывал речь, бледнел и назначал за работу лошадей такую бешеную цену, которой позавидовал бы сам Вильям Кэйтон, а на высказанное удивление отвечал высокомерно:

— Хотя я только конюх, но дешевле вы меня не купите... Да и вообще я разговаривать с вами не же-ла-ю, поняли?

И уходил. Уходил к какому-нибудь

выскочке-владельцу из мелких мещан и, презирая их в глубине души, соглашался на нищенское вознаграждение, служил им и выезжал на ипподром на беспородном сброде, почти никогда не выигрывая первых призов и не зная восторгов победителя...

Серая Лесть пришла вдруг, словно из сказки... В том, что она была лошастью исключительного класса, — Лутошкин не сомневался. Перед ним теперь вставал другой вопрос: как сделать так, чтобы Лесть осталась у него в конюшне? Случайным владельцем кобылы был торговец из Замоскворечья. Тип таких владельцев был слишком хорошо знаком ему. Лошадь для них — только товар. В них не было страсти. Как монета с орлом и решкой, их мир был двусторонний: купить, чтобы продать, и продать, чтобы купить. И если сейчас Лутошкин пошел бы к хозяину Лести и рассказал бы ему об исключительном классе кобылы и о бесспорности ее беговой карьеры, в этом приземистом лабазнике с неподвижными серыми глазами отложилось бы от всех его рассказов только одно слово: барыш... Назавтра он начал бы искать покупателя, а так как репутации классного наездника у Лутошкина не было, то новый владелец Лести мог в любое время отобрать ее у него.

Остановившись у раскрытого окна, Лутошкин долго смотрел на кобылу, проваживаемую конюхом

по двору. Накрытая попоной, Лесть смиренно шагала взад и вперед и, вытягивая шею, пыталась ущипнуть зеленую травку. Ей не было никакого дела до вопросов и сомнений человека, пытливо наблюдавшего за ней из окна маленького домика в глубине двора. Соскучившись от бесцельного хождения по двору, она потянулась к голове конюха, губами стянула с него картуз и бросила. Лутошкин улыбнулся и крикнул конюху:

— Пошли ко мне Филиппа.

Присев к столу, он набросал телеграмму владельцу конного завода Аристарху Сергеевичу Бурмину:

Продается кобыла от Горыныча и Перцовки. Срочно отвечайте. Лутошкин.

Бурмин был фанатиком орловского рысака и кобылу с такой породой не мог упустить в другие руки. Лутошкин это знал. Был он уверен и в том, что Бурмин согласится на его условие: не отдавать кобылу в работу никому, кроме него.

— У тебя деньги есть? — спросил он вошедшего Филиппа. — Отправь срочную телеграмму. Да смотри языком не трепи!

— Аль я совсем уж глупый, Алим Иваныч?! — весело обиделся Филипп. — На этом деле вырос!

Лутошкин помолчал, побарабанил пальцами по столу и нерешительно добавил:

— Зайди, Филя, к Семену Прохорычу... Попробуй хоть полсотни перехватить, а?

Филипп мрачно засопел. Телеграмму свертывал долго и тщательно, не глядя на Лутошкина. Потом решительно выговорил:

— Не даст.

Лутошкин скользнул взглядом по размеченной беговой программе на столе. Покосился на нее и Филипп.

— А если к Володьке? — еще нерешительнее сказал Лутошкин.

— Этот сам будет играть. Перед бегом у него отец родной наплачется из-за копейки. Нипочем не даст! Уж лучше к Семену Прохорычу попытаться... Только на мое мнение — не даст! Зайти мне, конечно, ничего не стоит, но только не даст.

— Зайди, Филя... Скажи — до завтра, завтра отдам!..

— Сколько просить-то? — вздохнул Филипп.

— Полсотни... Иль проси всю сотню, завтра отдам, обязательно отдам!

За дверью спальни послышалась возня, и оттуда высунулась пепельная голова Елизаветы Витальевны. Филипп поспешно вышел. Болезненно-брюзгливым голосом Елизавета Витальевна спросила:

— Ты уходишь? Оставь, пожалуйста, мне денег. Ты же знаешь, у меня нет ни копейки!

— Денег у меня нет, — отрезал Лутошкин и взял со стола картуз и хлыст.

Ненавидящими глазами Елизавета Витальевна впиалась в лицо мужа. Лутошкин следил за ее вздрагивающими губами и, угадывая слова, готовые с них сорваться, криво усмехался, а когда Елизавета Витальевна, ничего не сказав, хлопнула за собой дверью спальни, он шагнул к двери огромным, неслышным шагом и припал к ней ухом. Мгновенье он оставался так, сдерживая дыханье, согнутый, без движенья... И вдруг хлыст дрогнул в руке и зловеще, словно хвост у кошки, заиграл кончиком по полу... Лутошкин ударом кулака с треском распахнул дверь.

— Что вы сказали? Повторите, что вы сказали! — хрипло выкрикнул он, подступая к Елизавете Витальевне, стоявшей перед постелью спиной к нему. — Ну? Не хотите! Нет? Нет? Хам! Мужик! Так вы сказали? Так?!

Искаженное, бледное лицо Лутошкина было страшно. Елизавета Витальевна повернулась к нему и, смотря на вздрагивающий хлыст в его руке, тихо проговорила:

— Не бей!

Некоторое время они оставались так, друг против друга. Елизавета Витальевна неотрывно

смотрела на хлыст, и спина у нее была сгорблена.

— Не бей! — повторила она еще тише и вдруг, надломившись, села на неубранную постель и заплакала.

Резким движением Лутошкин дернул ящик ночного столика и, выхватив оттуда сверток с деньгами, собранными для больного Гришина, вышел из спальни.

В конце Башиловки Лутошкина догнал запыхавшийся Филипп.

— Телеграмму сдал, Алим Иваныч, квитанция вот, ну а прочее...

— Ничего не достал?

— Ни-и... и слушать не хочет!

— А у тебя есть деньги?

— Какие у меня деньги! Одиннадцать рублей всего.

— Давай их сюда.

Филипп почесался и полез в карман.

— Эх, хотел на Самурая поставить, глядишь — пятерочку подработал бы!..

— Ла-адно, твое от тебя не уйдет! Отнеси сейчас эти деньги Елизавете Витальевне, скажи — дома обедать не буду... Яшку не видел?

— Видел. К Митричу пошел.

Третьеразрядный трактир Митрича, неподалеку от ресторана «Яр», был излюбленным местом наездников; в свободное от работы время с

утра и до ночи велись здесь споры о лошадях, наездниках, конюшнях и заводах, рассказывались всевозможные случаи из жизни ипподрома, устанавливались генеалогические линии рысаков, и без конца пился чай, этот неизменный наезднический напиток. Хозяин трактира, приятный, круглолицый Митрич, в клетчатом жилете зимой, а летом в шитой малороссийской рубашке, познаниями в иппологии мог щегольнуть перед любым профессором и беспрочно играл в тотализаторе каждый беговой день.

Увидя входившего Лутошкина, едущего в этот день на верном Самурае, Митрич с почтительностью потряс ему руку.

— С праздничком, Олимп Иванович!

Лутошкин, ища глазами Яшку Гуськова, рассеянно ответил на приветствие Митрича, но Митрич прилепился пластырем:

— Едете сегодня, Олимп Иванович? Вне конкуренции должны приехать, жеребец-то у вас в поря-адке! Много за него, конечно, не дадут, фаворит будет на тринадцать с полтиной...

Гуськов пил в углу чай. Лутошкин подсел к нему и заказал коньяку и лимонаду. Выждав, когда отойдет Митрич, он посмотрел в красивое цыганское лицо Гуськова и тихо сказал;

— Есть дело!

Блестящие глаза Яшки заиграли и забегали по

соседним столикам. Он придвинулся ближе. Лутошкин налил в стопки коньяк и лимонад. Митрич, наблюдавший за ними из-за стойки, вдруг забеспокоился. Тихий разговор за уединенным столиком двух наездников, едущих в одном и том же заезде, навел его на размышления, от которых приятно защемило под ложечкой, а шитый ворот малороссийской рубахи вдруг показался узким...

«Сплав?»⁹ — радостно отпечаталось в его мозгу чудодейственное, всеобещающее слово.

Но следом пришли другие, расхолаживающие мысли, целый, ряд увесистых и, казалось, неопровержимых соображений.

Беговую программу этого воскресенья Митрич знал наизусть. В пятом заезде шло шесть лошадей. Первым номером на Самурае ехал Лутошкин, третьим номером на рыжей Заре — Яшка. Проиграть на Самурае Заре Лутошкин не мог без риска быть уличенным в сговоре с Гуськовым. После такого проигрыша владелец Самурая, наверняка, отберет его у Лутошкина, тем более что в руках прежнего наездника Гришина Самурай не знал проигрыша. А без Самурая Лутошкину — хоть закрывай конюшню, остальные лошади у него

⁹ Сплав — сговор, сделка (жаргон лошадиников-беговиков). (Прим. авт.)

барахло...

«Но Лутошкин до зарезу нуждается в деньгах! — возражал сам себе Митрич. — Сидит без копыя, Филька обегал всю Башиловку».

— На Самурае я выиграю, как хочу, — тихо говорил между тем Лутошкин Яшке, — всех за флагом¹⁰ брошу... Тебе и второго места не видать. Понял?

— Понимать тут нечего!

Лутошкин залпом выпил стопку и впился глазами в лицо Гуськова.

— А жеребец у меня сегодня может не заладить, — проговорил он, подчеркивая последнее слово, — первую четверть приму порезвей, все сдохнут. После такого приема Самурай будет на сбою...¹¹ Понял? Если ты побережешь кобылу с

¹⁰ Брошу... за флагом. — Для каждого возраста лошади установлен так называемый флаг, разница во времени, которая допускается между финиширующей лошастью и последующими лошадьми. Лошадь, оставшаяся за флагом, теряет право на получение какого-либо места и полностью лишается призовых сумм.

¹¹ Будет на сбою — то есть лошадь перейдет с движения рысью на галоп, что не допускается при рысистых испытаниях. Лошадь, сделавшая 4–5 таких сбоев на дистанции, выбывает из соревнований. Сбой во время прохождения финишного столба (9а галопом столб) лишает ее

приема...

Гуськов метнул воровским взглядом по сторонам и чуть заметно кивнул головой.

— Заметано? — одними губами спросил Лутошкин.

— Поехали! — так же тихо ответил Яшка.

— Олимп Иванович, — заискивающе заговорил Митрич Лутошкину, когда тот поднялся уходить, — так мы уж на вас, как в банк...

Его карие глаза прыгали от Лутошкина к Гуськову, ища ответа на неразрешенный вопрос: «Кто?.. Самурай или Заря? Лутошкин или Яшка?»

— Да ведь разыграют, сволочи, получишь свою десятку обратно! — зевая, ответил Лутошкин.

— Мы за большими рублями не гонимся, Олимп Иванович! Уж очень лошадка-то у вас верна, Олимп Иванович! На Яшу я вот и полтинника не поставлю...

За коньяк Лутошкин расплачивался деньгами Гришина. Вынул из кармана все шестьсот семьдесят рублей и долго рылся в пачке, ища пятерку. У Митрича запрыгала правая бровь. Он был уверен, что Лутошкин без денег...

Проводив Лутошкина до двери, Митрич сел у столика, за которым только что сидели два

какого-либо места и вообще дисквалифицирует.

наездника, и мучительно задумался...

Придя на бег, Лутошкин разыскал в рублевых местах барышника Арона и сунул ему шестьсот рублей.

— В пятом заезде поставь на третий номер. Тут розно шестьсот.

Арон выкатил глаза.

— На Яшку?

— Да.

— На Зарю?!

Арон торопливо проглотил слюну и забормотал с такою поспешностью, будто во рту у него была швейная мастерская:

— Шестьсот рублей так-ие деньги, ай-ай-ай! Заря была же только без тридцати семь, она же никакая лошадь, когда едет Самурай, она же сдохнет на первой четверти; хорошенькое дело будет, если она придет, когда едет ваш жеребец. Какой дурак так думает?..

— Жеребец не ладит, — мрачно сказал Лутошкин.

— Самурай не ладит?! — удивленно подхватил Арон. — Но я же, Арон, вот этими собственными глазами видел его на проезде, и он шел, как Вильгельм по несчастной Бельгии...

— Ладно! — оборвал его Лутошкин. — Потом поговорим! На третий номер в пятом.

— А если застраховаться в двойничке? —

предложил Арон, но Лутошкин только поморщился.

Когда Арон повернулся уходить, Лутошкин остановил его и, порывшись в кармане, вынул еще несколько бумажек.

— Тут вот еще шестьдесят пять рублей, поставь и эти...

Не оглядываясь, Лутошкин пошел в наездническую. На лестнице до его слуха дошла кем-то брошенная фраза:

— ...может прийти Ветелочка. Кобыла те-емная...

Лутошкин вздрогнул, словно его ударили, и остановился. Перед ним возник образ вороной ладной лошадки, недавно появившейся на ипподроме и принадлежавшей никому не известному В. К. Кокореву. Ветелочка шла в том же пятом заезде. Ехал владелец.

Обернувшись назад, он увидел на площадке лестницы двоих, по одежде и лицу принадлежавших к людям откуда-нибудь из Замоскворечья, близ Конной площади, которые неизвестно как ухитряются пронюхать о самых сокровенных замыслах наездников и владельцев, знают наперечет всех лошадей ипподрома, их порядок и играют почти без проигрыша в тотализатор; грубые, самоуверенные и наглые, с воловьими бритыми шеями, в суконных картузах,

они заполняют дешевые места трибун и яростно освистывают наездника, если он случайно обманет их ожидания.

Первой мыслью Лутошкина было подойти к ним и спросить о Ветелочке, узнать хоть что-нибудь о вороной кобыленке... Пусть они ничего не скажут: одного намека, выражения лица было бы для него достаточно.

Один из них был высокий и весь жесткий, с коротко подстриженной огненной бородкой; другой — в летней поддевке нараспашку, ярко-румяный, стоял, широко растопырив ноги, и ковырял в носу.

— Ее и надо сыграть. Полсотни поставим, а Кокорев подгадить не должен! — произнес высокий тем же самым гнущим голосом, каким была произнесена услышанная Лутошкиным фраза.

— Я — как ты, Максим Семеныч, по четвертному, значит? — отозвался другой.

В мыслях Лутошкина все перемешалось... Заря, Самурай... Яшка, и больной Гришин, и именины Сафир; и над этой сумятицей, словно зловеющая световая реклама в движенъи и шуме ночной жизни, два слова:

«Кобыла те-емная...»

Шестьсот семьдесят рублей, собранные для больного Гришина, унес Арон, а с бегового круга уже доносились удары колокола, возвещавшие начало бегового дня...

Над постелью Егора Ивановича Гришина висели наезднические доспехи: черный шелковый камзол, зеленый картуз, очки и хлыст, а под хлыстом — секундомер. Егор Иванович с постели почти не вставал. Лежа в одиночестве, он целыми днями рассматривал эти знакомые до мелочей вещи и все забывал сказать Авдотье Петровне, чтобы она зашила распоровшийся шов на правом рукаве камзола... Иногда снимал со стены секундомер и подолгу наблюдал за прерывистым бегом стрелок, и таинственное чередование секунд и минут вызывало в нем знакомые образы лошадей, изученных и измеренных этой машинкой. То останавливая, то пуская его, Егор Иванович определял резвость воображаемых рысаков, высчитывая верстовые и полоторные четверти, резвость приемов и поворотов, проскачки и финиши, подбирал из знакомых крэков 12 ипподрома компании и пускал их на полторы, на три версты, перевоплощаясь из наездника в стартера, из стартера в судью, из судьи в зрителя...

¹² Крэк — лучшая лошадь в тренерской конюшне или на ипподроме.

Входила Авдотья Петровна.

— Что ты с секундомером-то все возишься, уснул бы часок!

— Прикидываю, прикидываю, старуха, в какую резвость на Девичье еду? — шутил Егор Иванович, щелкая секундомером. — Помереть, старуха, не страшно, а вот сосет тут, как подумаю — ипподрома-то там и нет!.. Разок бы разъединственный еще на круг попасть, потешить сердце!..

Авдотья Петровна со вздохом брала у него из рук секундомер и вешала на место. И уходила, незаметно вытирая мокнувшие глаза.

Снова оставаясь один, Егор Иванович вытягивал исхудалую руку по стеганому одеялу и, сжимая, и разжимая пальцы, рассматривал ее... Совсем еще недавно эта рука, теперь бессильная и ни на что не пригодная, ломала надвое подкову и могла остановить на полном ходу любую лошадь... Сколько их прошло через эти руки?! Серые, вороные, гнедые, злобные и добрые, отбойные и покорные, повиновались они каждому движению пальцев, чутко ловили малейший трепет вожжей и мчали, и уносили его по замкнутому кругу ипподрома.

На стене, против постели, висела большая фотография, изображавшая могучего серого жеребца. Это была первая лошадь, на которой

двадцать лет назад Егор Гришин въехал на беговой круг Московского ипподрома и выиграл свой первый приз.

Глядя на него, Егор Иванович припоминал прожитую жизнь, и она вставала перед ним, как один непрерывный бег. Бег без начала и конца, без старта и без финиша. Не множество рысаков, а один неутомимый, не знающий усталости, с стальным сердцем и мускулами, призрачный Рысак мчал его все эти двадцать лет по замкнутому кругу огромного, бесконечного ипподрома... Шумная, взволнованная жизнь проносилась мимо, уплывала назад, исчезала, чтобы надвинуться снова и снова исчезнуть позади, а впереди — стремительная дорожка безначального и бесконечного круга...

Лутошкин приехал к Гришину после бегов.

— Алимужка?! Вот хорошо, вот хорошо! — как ребенок подарку, обрадовался Егор Иванович и даже встать хотел, но Лутошкин удержал его.

— Я на одну минутку, деньги тебе привез...

— Какие там деньги, раздевайся, рассказывай!.. Что у вас там? Как сегодня денек? Вильям ехал? Рассказывай, садись! Как Бирюза? Компания с ней подобралась классная!

Лутошкин вынул из кармана шестьсот семьдесят рублей и положил их на стул у постели.

— Вот собрали мы между собой... — начал он, но Егор Иванович сердито отодвинул деньги, не

глядя на них.

— Потом, потом скажешь!.. Деньги мы с тобой видали! Потом скажешь. Говори, какие дела на кругу делаются? На Самурае-то ехал нынче?

— Ехал.

— Ка-к?

— Никак.

Егор Иванович вскинул быстрый взгляд на Лутошкина, и на лбу у него торопливые завозились морщинки. Сунув под подушку руку, он вытащил беговую программу, открыл на пятом заезде, прочел и уставился вопросительно на Лутошкина.

— Галопом столб!9а — деланно громко сказал Лутошкин.

Егор Иванович щипнул свою мужицкую русую бороденку и запыхтел, как еж, которого дразнят. Некоторое время оба наездника молчали. Лутошкин наблюдал за лицом Гришина и, угадывая его мысли, нервно подергивал ртом, готовясь отвечать.

— Яшка, стало быть? — глухо выговорил Егор Иванович.

Лутошкин утвердительно мотнул головой, отвернулся и крупно зашагал по комнате, похрустывая пальцами.

— Та-а-ак... — протянул Егор Иванович.

Оба долго молчали.

Лутошкин подошел к постели и уставился в

хмурое лицо товарища.

— Егор!

— Чего?

— Нехорошо, скажешь? — выговорил Лутошкин после долгой паузы и, не дождавшись ответа, заговорил торопливо: — А по-моему, хорошо! Так им, чертям, и надо! Мало мы их кунаем, почаще бы их так!.. Приедешь — свистят, а не приедешь — лаются. А посади каждого из них в мою шкуру! Два месяца конюхам не плачу, до ручки дошел. На призу едешь, а в голове бухгалтерия итальянская: шорнику столько-то, кузнецу завтра столько-то, в ломбарде столько-то... Эх, Егор, надоело, наелся! Тебе можно говорить, у тебя первоклассный материал в конюшне был, а у меня что?!

— А теперь и Самурая владелец отберет, — сказал Егор Иванович.

— И черт с ним! На одном Самурае далеко не уедешь!

— А я вот, — помолчав, раздумчиво заговорил Егор Иванович, — за двадцать лет ни разу ездой не слукавил. Ни разу, Алим! На совесть ехал. А скажи, сколько Егор Гришин на своем веку кордонружа выпил? Сколько его в других влил?.. Окия-ян!.. Яшка, — он ноне на кругу, а завтра холуем в трактир пойдет, ему наездническая честь не дорога; а тебе репутация, репутаци-а-ция нужна,

Алим, от нее и класс будет в конюшне.

Егор Иванович щелкнул пальцами по программе и с горечью воскликнул:

— Проигра-ал-то кому-у?! Заре!! Ни роду ни племени, четыре ноги да хвост, а кроме ничего!.. Э-эх, Алим!..

Лутошкин молчал. Никаких угрызений совести за свой намеренный проигрыш на Самурае он не испытывал. Напротив, в нем жило злобное чувство удовлетворения. Когда после проигрыша Самурая он выехал на поездку на другой лошади, обманутая им многотысячная толпа встретила его улюлюканьем, свистом и руганью, и он первый раз в жизни ощутил вдруг свое превосходство над всеми этими орущими людьми и, отдаваясь во власть этого чувства, перевел лошадь на медленный шаг, ближе к решетке, отделявшей его от толпы, потом совсем остановился, как бы бросая молчаливый вызов беснующимся трибунам... И рев вдруг сразу стих, и в тишине чей-то голос сверху восхищенно крикнул: «Браво, Лутошкин!» Этот возглас прозвучал для него единственным человеческим голосом в зверином жадном реве толпы, и воспоминание о нем хотелось хранить, как ценный приз.

Присев на кровать, Лутошкин рассказал об этом Егору Ивановичу.

И лицо Гришина вдруг повеселело. Он

сочувственно улыбнулся Лутошкину и несколько раз повторил:

— Это ты правильно! Молодец! Так их и надо!

Потом с неожиданной суровостью спросил:

— Лесть как?

Обеими руками Лутошкин взял худую руку Егора Ивановича и крепко пожал ее.

— Что-о?

— Знаешь, как едет кобыла? — воскликнул Лутошкин и зажмурился. — Страшно едет! Без двенадцати полуторную ¹³ приняла, — думал, секундомер врет...

Егор Иванович отбросил одеяло и, быстро вскочив с постели, схватил Лутошкина за пиджак и начал трясти.

— Говорил тебе... Говорил... А поро-ода, порода-то какая, Алим! От Горыныча-а, правнучка соллогубовского Добродея, внучка Летучего и Ладьи. Бриллиантовая руда-а кровца-то!.. Верь мне, верь Егору Гришину, держись за кобылу обеими руками, она тебя вывезет. Я все обдумал, пиши сейчас Бурмину, телеграмму пошли, — он купит! Орловскую не упустит, за такую породу никаких

¹³ Полуторная без двенадцать — 400 метров пройдено лошадей за 33 сек.

денег не пожалеет! Тебя он уважает, оставит ее у тебя в конюшне, другому не отдаст. Строчи сейчас телеграмму... Так и так, мол, от Горыныча и Перцовки... Так, говоришь, полуторную без двенадцати?

— Не поверил, понимаешь, не поверил, — возбужденно заговорил опять Лутошкин, — глянул, сердце зашлось, сдержанно полкруга без двадцати трех,¹⁴ сдержанно, понимаешь?

Он встал и взволнованно прошелся по комнате.

— Знаешь, Егор, если б деньги были — ни за что не упустил бы кобылу, сам купил бы...

Егор Иванович сел на кровать и задумался; потом исподлобья долго и сосредоточенно смотрел на Лутошкина.

— Зря говоришь, Алим. Для наездника ни к чему такие слова! Сердце у нашего брата должно быть вольное, прилепишься к лошади — руки потеряешь. Сколько их вот в этих руках перебивало, а никогда в мыслях не держал, чтоб приобрести. Вся он, — Егор Иванович поднял глаза к фотографии серого жеребца против постели, — мог и его купить, ан нет, уберег себя! А уж любовь

¹⁴ Полкруга без двадцати трех — 800 метров за 1 мин. 07 сек.

у меня с ним была-а, такой теперь нету, двадцать лет прошло, а помню...

Егор Иванович вздохнул и понурился.

В одном белье, исхудалый, в спадающих штанах, был он маленький и жалкий. Станным казалось, что не так давно этот невзрачный человек, с простым лицом рязанского мужичка, был достойным соперником самого Вильяма в тонком и сложном искусстве езды. Лутошкин, глядя на его прозрачные, неживые руки, припомнил слова одного охотника-ездока, к которому попала лошадь, бывшая в работе у Гришина: «У нее так верен рот — ни на одной стороне нет лишнего золотника. Таких рук, как у Гришина, на ипподроме нет и не будет».

Лутошкин осторожно положил ему на плечо руку и с печальной мягкостью в голосе проговорил:

— Зачем встал, Егор, лежи!..

Егор Иванович вздохнул и понурился.

— Эх-эх, Алимушка, отъездился Егор Гришин, крышка, брат!

Слушая тяжелое, прерывистое дыхание товарища, Лутошкин искал в себе какие-то слова утешения и не находил, и было нехорошо от мысли, что сейчас от Егора он поедет на именины к Сафир, а потом в «Яр»...

— Что за деньги привез? — недовольным голосом спросил Егор Иванович, залезая под

одеяло.

— На лечение собрали тебе... Пригласишь хорошего доктора, авось и...

— Еще чего?! — запыхтел Егор Иванович. — Доктора!.. Доктор теперь ни при чем! Деньгам перевод, ничего кроме. Отъездился! На всяких ездил, двадцать лет ездил... Нонче на серой, а завтра на гнедой, на вороной, на разных гонял, ан выходит, по настоящему-то теперь вот еду... Финишем, Алим, еду к столбу...

Прошло два дня. В среду все наездники получили краткое письменное приглашение от Егора Ивановича Гришина пожаловать к нему на рюмку водки...

Авдотья Петровна пыталась отговорить Егора Ивановича, но он был неумолим. Вытаскивал из-под подушки деньги, оставленные Лутошкиным, отсчитывал бумажку за бумажкой и отдавал приказания:

— Икру в Охотном возьмешь, да смотри, чтобы первый сорт... Балык там же. Кордонружу две корзинки, коньяку пять звездочек... Да не забудь для Семена Иваныча мадерки, он мадерку лю-юбит, а Ваське — рому...

— Довольно тебе, хватит! — говорила Авдотья Петровна.

— Знаю, знаю, что делаю, — обрывал ее Егор Иванович и прекратил свои приказания только

тогда, когда все шестьсот семьдесят рублей превратились в горы закусок и целые батареи всевозможных водок и вин.

— По-наездники, чтоб начисто! — приговаривал он и счастливо улыбался, осматривая с порога спальни накрытый стол, и волновался, когда замечал какой-либо непорядок. — Петя-то что тебе сказал? Ты в руки отдала ему записку? Сказал — приедет?

— Сказал — приедет, — со вздохом в десятый раз повторяла Авдотья Петровна.

— Приедет, приедет! — успокоенно повторял и Егор Иванович. — К кому другому, а к Егору Гришину приедет, все бросит, а приедет... Помню, раз у «Яра» с Алимом гуляли... Слышим — в соседнем кабинете Петькин голос, поет... Посылаю я человека туда, говорю: «Зови к нам Петю». — «Ничего, говорит, не выйдет из этого, Егор Иванович, потому фон Мекк там гуляют и специально его к себе пригласили». Ну, а мы с Алимушкой ему записку: «Хоть ты и миллионщиком приглашен, а мы рядом в кабинете по-наездники гуляем». Минуты не прошло, смотрим — вваливается к нам, всех фон Мекков к лешему! Знает Петька, кому его песни нужны, зна-а-ет!.. Поет, а мы, бывало, плачем, а иной раз и сам заревет. Раз и гитару расшиб вдребезги, душой не стерпел. Нет такого человека во всей Москве,

чтобы «По старой Калужской дороге» так мог спеть, как Петька Рассохин. Многих слышал, а таких нет еще.

Егор Иванович присел на стул и задумался. Опустил на грудь голову и долго сидел так, смотря в одну точку. Потом смахнул со щеки слезинку, вздохнул, встал с видимым усилием и, окинув еще раз взглядом приготовленный для гостей стол, попросил Авдотью Петровну закрыть дверь спальни и не тревожить его.

— Скоро придут... Приготовиться надо, отлежаться малость... Все, все соберутся, по-наезднически, по-хорошему...

Авдотья Петровна накрыла его стеганым одеялом и вышла, плотно прикрыв дверь в столовую.

Егор Иванович закрыл глаза и долго лежал в той же позе, в какой оставила его Авдотья Петровна. Лежал и прислушивался к своему телу. Обычно он его не ощущал, а ощущал и слышал то, что было где-то внутри, что давало жизнь мыслям и чувствам. Но теперь он вдруг в первый раз почувствовал тело и удивился его свинцовой тяжести. Особенно ноги... Они лежали под одеялом, как две чугунные сваи, одна на другой, плотно, словно склепанные, и не было такой силы, которая могла бы изменить их положение. Кто-то сложил их так навечно, навсегда... И от них эта

чугунность, непреоборимая и вечная, надвигалась постепенно на все тело, наливала тяжело пальцы рук, плечи и голову, вдавливая ее в подушку. В борении с ней Егор Иванович шевельнул правой рукой, лежавшей поверх одеяла, и стал поднимать и опускать ее, сгибая в локте, а когда ощутил тяжесть век, ему вдруг стало страшно, и он постепенно открыл глаза... Увидел справа на стене черный камзол, зеленый, необычайно яркий картуз, огромные очки и хлыст, и под хлыстом секундомер. Секундомер шел...

Оторвавшись от секундомера, Егор Иванович с усилием передвинул глаза к любимой фотографии серого жеребца. И серый Рысак вышел из черной рамы и стал у постели, нагнув голову, стальной, могучий и готовый принять седока...

Двигавшаяся вниз и вверх правая рука поднялась в последний раз и долго не хотела опускаться...

4

Аристарх Сергеевич Бурмин, низко склонившись к столу, рассматривал что-то на белой накрахмаленной скатерти, и черный квадрат его ассирийской бороды вздрагивал. В столовую вошла экономка, белобрысая, затянутая в корсет, и подала ему телеграмму. Не взглянув на телеграмму,

Бурмин отложил ее в сторону, медленно выпрямился, и его указательный палец вопросительно ткнул в скатерть.

Адель Максимовна, вспыхнув, быстро нагнулась к столу к тому самому месту, куда упирался палец в золотом широком перстне, и ничего там не увидела. Палец поднялся и опустился еще раз на то же самое место.

— Я спрашиваю вас, что это? — деревянным голосом выговорил Бурмин.

— Но тут ничего нет. Где? — робко спросила Адель Максимовна и дунула на скатерть.

— Передвиньте мой прибор на другое место!

На лице Адель Максимовны проступили мелкие капельки пота. Торопливо она переставила прибор на другую сторону стола и, непонимающая, растерянная, попыталась еще раз увидеть на скатерти то, что заставило Аристарха Сергеевича Бурмина пересесть на другое место, и еще раз ничего не увидела.

Бурмин кашлянул, когда она, выходя из столовой, дошла до двери. Это было признаком его желания что-то сказать. Адель Максимовна быстро подошла к нему.

— Муха-с, — проговорил Бурмин и выдержал долгую паузу, — муха, понимаете, посидела и оставила-с... гуа-а-но! А вы изволили туда мой прибор поставить? Ступайте!

Придвинувшись к столу, Бурмин принялся за чай. Прежде чем намазать на хлеб масло, он внимательно со всех сторон осмотрел хлеб, потом масло и нож и, намазывая, тщательно следил за тем, чтобы масло легло ровным слоем и закрыло все дырочки. Налив чаю, поднял стакан и долго рассматривал его на свет. Телеграмму он вскрыл после завтрака, в кабинете, огромном и неудобном, похожем на старинный сундук. Спинка у деревянного кресла перед письменным столом изображала дугу, а ручки — два топора. На дуге — пословица резными буквами: «Тише едешь, дальше будешь». И на сиденье — пара деревянных галиц, мешающих удобно расположиться в кресле. Таким же неудобством отличался и большой книжный шкаф благодаря особому устройству раздвижных дверок, закрывавших при всяком положении всю среднюю часть шкафа так, что достать книгу, стоящую на середине полки, было почти невозможно. Против письменного стола на видном месте висела в богатой раме копия с известной старинной гравюры, изображавшей графа Орлова на сером Барсе, родоначальнике орловских рысаков, а под ней — большой фотографический снимок Крепыша и его знаменитые предки: Громадный, Громада, Летучий, Волокита; Кокетка...

В спорах, раздиравших в это время

российских коннозаводчиков, Аристарх Бурмин был непоколебимым сторонником орловского рысака и носил в своем бесстрастном сердце окаменелую ненависть к американской лошади и ко всем тем, кто ратовал за ввод в Россию американских производителей. На письменном столе у него лежала заводская книга в тисненном кожаном переплете, куда записывались рожденные в его заводе жеребьята. На первой странице из бристольской бумаги была изображена золотом виньетка — лавровый венок и в венке слова:

Слава отечества не померкнет. Ибо гений орловского рысака бессмертен. Коннозаводчик Аристарх Бурмин.

Телеграмма была от Лутошкина. Бурмин два раза перечитал ее и задумался. Лутошкина он знал давно и внимательно следил за его наезднической карьерой. К этому у него были серьезные основания. Юношей он как-то присутствовал при разговоре отца с одним из его приятелей и был поражен рассказом об известном споре коннозаводчика Стаховича со своими друзьями. Стахович утверждал, что от жеребца и кобылы, по его выбору, каких угодно мастей, но только не рыжей масти и ее оттенков, он выведет жеребца именно рыжей масти. Пари было заключено, и, к

изумлению противников, в заводе Стаховича появился жеребенок рыжей масти от отца и матери, которые были совершенно других мастей. Этот рассказ породил в мозгу юного Аристарха мысль, с которой он потом уже не мог расстаться, мысль о наезднике.

Скрестить классного наездника с потомками другого классного наездника и таким путем вывести в конце концов наездника, гениального... приблизительно так решил тогда же юный Аристарх. К этой мысли он не раз возвращался и впоследствии, когда после смерти отца сделался полным хозяином конного завода, и, встретив на бегах в Москве Олимпа Лутошкина, он вдруг вспомнил, что Варягин, отец Лутошкина, был известен как знаменитый тренер, а мать Лутошкина, скотница Марфа, была дочерью не менее замечательного Ивана, варягинского кучера, прославленного редким искусством езды. Олимп Лутошкин не понял тогда, почему это Бурмин вдруг оборвал на полуслове разговор и таким странным и долгим взглядом посмотрел на него, а отойдя, начал торопливо что-то вписывать в свою большую записную книжку в малиновом переплете из сафьяна.

Полученная телеграмма лишний раз напомнила Бурмину о существовании Олимпа Лутошкина. Из нижнего ящика письменного стола

он достал записную книжку в малиновом переплете и, неторопливо перелистав ее, остановился на записи, сделанной тогда на бегах в Москве при встрече с Лутошкиным.

«Лутошкин от Варягина и Марфы. Марфа? Срочно установить, от кого Иван Лутошкин, и вообще генеалогические линии!» — гласила бисерная запись.

Про отца Варягина рассказывали, что он мог совершенно точно определить на выводке жеребят по одному внешнему виду, от кого данный жеребенок. А когда ослеп, то по звуку копыт бежавшей лошади безошибочно угадывал, какая лошадь бежит. Дед Варягина Варлаам Варягин славился как борзятник и любитель скаковой лошади, а бабка Евдокия Никитишна сломала шею на травле волка. Варягины были соседями Бурмина по имению, и их генеалогия не была трудным делом. Мудренее было с предками Марфы...

«Вот если бы Марфа была лошастью!» — подумал Бурмин и разгладил ладонью полученную телеграмму.

Продается кобыла от Горыныча и Перцовки. Срочно отвечайте. Лутошкин.

В мозгу человека, не посвященного в тайны науки о лошадях, эти два имени вызвали бы самое большее — образы Горыныча и Перцовки, если он их видел когда-нибудь. Но Аристарх Бурмин

недаром проводил ночи напролет, склонившись над книгами и тетрадями, вписывая туда своим бисерным почерком заметки о лошадях, устанавливая генеалогию отдельных рысаков, подмечая отличительные свойства как отдельных лошадей, так и целых семейств и родов, их способность передавать потомству то или иное качество и прочее. Запершись в своем огромном и уютном кабинете, Бурмин, как алхимик в поисках чудодейственного эликсира, сталкивал кровь дедов и внуков, сестер и братьев, отцов и дочерей в упрямой и тайной надежде напасть на такое сочетание кровей, которое вдруг вспыхнет ослепительным блеском гения, как вспыхнула орловская кровь в гениальном великом Крепыше. И эта огромная, кропотливая работа раскрывала перед ним все лошадиные имена, наполняя их физически ощутимым содержанием. Горыныч был сыном славного Летучего и внуком соллогубовского Добродейя, а Добродей — дед Громадного и прадед великого Крепыша...

Кто знает — не таит ли в себе предлагаемая дочь Горыныча и Перцовки священный огонь гения? Разве в ней так же, как и в Крепыше, не собраны максимум генеалогических данных для произведения потомка исключительного класса?

Накрыв волосатой рукой телеграмму, Бурмин отвалился на спинку кресла и окаменел в

безмолвном созерцании проходивших перед ним царственной вереницей жеребцов и кобыл, знаменитых прадедов и дедов, отцов и детей... И, словно это было не в мыслях, не в кабинете за письменным столом, а в яви, на выводке, он отмечал каждого из них кивком головы, и в улыбке у него тихо вздрагивал черный квадрат бороды...

В кабинет вошла Даша, красивая и плутоватая жена повара Димитрия.

— В баню-то ай не пойдете нонче? Митрий заждался!

Бурмин оглянулся на нее, придвинул четвертушку бумаги и написал ответную телеграмму Лутошкину:

Порода достойная телеграфируйте порядок, возраст, кто продает, цену. Аристарх Бурмин.

— Поди сюда! — кивнул он Даше.

Даша оглянулась на дверь, хихикнула и, виляя выпуклыми бедрами, подошла к столу. Бурмин внимательно осмотрел ее ловкую, плотную фигуру, и правый стрельчатый ус его странно шевельнулся.

— Вот телеграмма, — заговорил он, раздвигая паузами слова и не переставая шарить глазами по фигуре Даши, — отдашь Павлу отправить на станцию...

Поймав Дашу за руку, протянувшуюся к

телеграмме, он привлек ее к себе и начал гладить по спине. Гладил так же, как гладил в конюшне лошадей, и приговаривал:

— Вер-хом п-путь от-везет на ст-анцию, на станцию, на... на.....станцию, на ст-анцию...

Даша притворно ежилась от поглаживаний, хихикала и оглядывалась на дверь. И, не делая попытки освободиться, просила с деланной испуганностью:

— Ой, да пустите!.. Ой, да что вы?! Ой, увидят!

— Стой смирно. Спина у тебя хор-ошая, — глухо поскрипывал Бурмин, — не шали, стой сми-рно!.. На станцию п-путь от-отве-зет, на ста-а-нцию. Повернись боком, вот та-ак!.. Тебе пп-риятно, когда я гла-ажу, глажу вот та-ак, по спине? Приятно, мм? Вв-от так, по спи-инке, вв-от та-ак...

— Ой, да что вы?! Пустите! Ой, щекотно!..

— Подожди!

Даша взвизгнула и, вырываясь из ставших вдруг цепкими рук Бурмина, метнула глазами на окно:

— Митрий смотрит!

Бурмин испуганно отшатнулся от нее и побледнел. Взглянул воровским, быстрым взглядом на все окна по очереди. Даша захихикала.

— Испужались?!

Раскрасневшаяся, с искрящимися лукавством глазами, с плутовскими ямочками на щеках, она была соблазнительна. Бурмин долго смотрел на нее молча, потом глотнул слюну и сказал:

— Придешь после обеда. В баню сходи.

Переодевшись в мягкий коричневый халат и туфли, Бурмин вышел из дома. Был понедельник, а по понедельникам утром он ходил в баню. Повар Димитрий поджидал его у крыльца с голубым тазом и суконками. Прежде чем войти в баню, Бурмин послал туда Димитрия.

— Понюхай!

— Возду-у-ух!.. — зажмурившись, пропел Димитрий, выйдя из бани. — Ну, скажи, в раю такого нету, одна легкость!

В предбаннике он раздел барина. С почтительностью к каждой части туалета аккуратно сложил белье на табурет, быстро разделся сам и, когда оба голые вошли в баню, заржал и зашлепал себя по ляжкам.

— О-о, и бла-го-да-ать! Ну и легкость! Ну и воздух! Чего ж стоишь! Садись, сейчас окачу тепленькой!

По понедельникам в бане Димитрию разрешалось называть барина на «ты» и не барином, а просто Сергеичем.

Растопырив руки и ноги, Бурмин беспомощно стоял посредине бани и недоверчиво нюхал воздух.